

С.В. Стахорский

## Шариков

ШАРИКОВ — герой повести М.А. Булгакова «Собачье сердце» (1925). В основе этой, по словам писателя, «чудовищной истории» сюжетный мотив, восходящий к романтикам («Франкенштейн» М. Шелли), представленный позднее у Г. Уэллса («Остров доктора Моро»), у русских символистов («Республика Южного Креста» В. Брюсова, «Прометей» Вяч. Иванова), а также у самого Булгакова («Роковые яйца»): творение рук человеческих оборачивается против своего творца. Профессор Преображенский (фамилия значащая — отсылает к «теургам» начала века с их утопическими идеями «преображения» людей) предпринимает «первую в мире операцию» по пересадке головного мозга. Он пересаживает гипофиз пролетария Клима Чугункина, умершего от пьянства, дворовому псу Шарику, и тот «преображается» в человекоподобного монстра, Полиграфа Полиграфовича Шарикова, который в скором времени заводит себе паспорт и начинает классовую борьбу за место под солнцем и на жилплощади своего создателя.

В собачьем племени мировой литературы Шарик ничем особо не выделяется — ни «интеллигентностью» чеховской Каштанки, ни «мудростью» бунинского Чанга. Шарик — пес трусливый и вороватый, готовый за кусок колбасы стерпеть любые побои, но его собачье сердце — верное и доброе. Ничего этого нет в Шарикове. От Шарика в нем осталась только ненависть к кошкам. Оттого он поступает на службу «заведующим подотделом очистки города Москвы от бродячих животных (котов и прочее)». А вот «пролетарская косточка», унаследованная от Клима Чугункина, в Шарикове крепка. Своих товарищей он сразу же находит среди «товарищей», у него безошибочный нюх на классового врага и широкие виды на будущее, которое, как он считает, принадлежит ему. Запросы Шарикова во многом совпадают с претензиями Присыпкина — героя комедии В. Маяковского «Клоп» (1929). Однако различие между ними существенное: казавшееся Маяковскому накипью революции, «крашенным рыжим, а не красным», — в глазах Булгакова красным красно.

Литературную родословную образа Шарикова иногда связывают с Гомункулусом, персонажем второй части трагедии Гете «Фауст». В самом деле, оба персонажа являют собой существо, сотворенное человеком и «не до конца очеловеченное» (слова Гете). На этом моменте возможные параллели между ними обрываются. Если Гомункулус мечтает «доделаться» до человека «в полном смысле», то Шариков вполне удовлетворен своим настоящим состоянием. Образование, культура, вкус, хорошие манеры, демонстрируемые «родителями» — профессором Преображенским и его ассистентом доктором Борменталем, — в понятиях Шарикова излишество. Невежественный, нечистоплотный, одержимый манией доносительства, Шариков — полная противоположность Гомункулусу с его «тягой к красоте и плодотворной деятельности» (характеристика Гете). На эту противоположность указывает в ряду прочего булгаковский контекст. В последнем романе писателя Воланд, прощаясь с Мастером у порога «вечного приюта», советует ему засесть над ретортой в надежде вылепить нового гомункула. Трудно допустить, что Мастеру уготована участь профессора Преображенского и обретенный в вечности покой обернется еще одним кошмаром.

Развязка судьбы Шарикова и Гомункулуса схожа, но не одинакова: оба возвращаются к своему исходному состоянию. Гомункулус, разбив защитную колбу, растворяется в «абсолютном», откуда был вызван усилиями алхимика. Шариков же снова делается Шариком. Милиция, заявившаяся к профессору с обыском, обнаруживает «кошмарного вида пса с багровым шрамом на лбу», который, улыбнувшись, сел в кресло и гаркнул: «Неприличными словами не выражаться!»

Судьба Гомункулуса демонстрировала несовместимость органического и механического, естественного и искусственного. Эту гетевскую коллизию Булгаков наполнил новым содержанием, показав, что искусственное может оказаться вполне жизнеспособным и живучим, больше того, угрожающим живой жизни и всему тому, что писатель называл «великой эволюцией». Отсюда различия в финалах. Гомункулус не смог выжить в естественной среде, Шариков в ней прижился. Больше того, нашел в лице Швондера подобие себе, столь же «не до конца очеловеченное», хотя и рожденное естественным путем. Поэтому потребовалась повторная операция, чтобы Шариков опять стал Шариком.

Таков философский итог повести, не замеченный ее первыми читателями. Большинство из них усмотрели в «Собачьем сердце» «острый памфлет на современность» (отзыв Л. Каменева) и не продвинулись в понимании дальше аллюзийно-публицистического слоя. Образ Шарикова восприняли как прямую аллегория пролетариата, выкормленного интеллигенцией, то есть профессором Преображенским. (Ср. в пьесе Н. Эрдмана «Самоубийца» аллегория о курице, которая высидела утиные яйца и пострадала от птенцов, заставивших ее либо плыть по течению, либо... сидеть.) Такое восприятие центрального образа и всего произведения было предопределено самим текстом (Булгаков признавал, что «повесть грубая», то есть слишком аллюзийная), но еще более «метатекстом». Арест «Собачьего сердца» во время обыска, произведенного ГПУ на квартире Булгакова 7 мая 1926, последовавший затем запрет не только на публикацию, но даже на упоминание названия, наконец, появление повести в советской печати времен «перестройки» (1987), встреченное громом демократических фанфар, — все это в совокупности придало произведению тенденциозно-политический смысл, лишив его серьезного философского значения. В этом контексте Шариков превратился в идеологический жупел, которым публицисты пугали друг друга. «Правая» печать нарекла «детьми Шарикова» всех «левых», оперируя теми же классовыми императивами, которые сама отрицала как реликт «поколения шариковых». В этой плоскости были осуществлены все инсценировки и экранизации произведения. Между тем смысл булгаковского образа глубже и значительнее какой бы то ни было публицистики. Писатель указывает на социальные эксперименты (не обязательно социалистические) и показывает, во что обращается любое насилие над органической жизнью, над «великой эволюцией»: неважно, от кого это насилие исходит — от большевиков 1920-х или от «прорабов перестройки» 1980-х, от приверженцев модной во времена Булгакова евгеники или от «теургов», воодушевленных идеей «организации действительности», как ее формулировал Вл. Соловьев, — словом, от всех «инженеров человеческих душ» и «строителей» людских жизней.